

МАКСИМ
ГОРЬКИЙ

*Автобиографические
рассказы*

УДК 82-3

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Г71

Горький, М.

Г71 Автобиографические рассказы / М. Горький. — М.: T8RUGRAM, 2017. — 194 с.

Русский писатель Максим Горький - одна из самых значительных, сложных и противоречивых фигур мировой литературы. В прозе, драматургии, мемуаристике писатель с эпическим размахом отразил социальные типы, общественные отношения, историю, быт и культуру России первой трети XX века.

УДК 82-3

ББК 83.3(2Рос=Рус)1

BIC BGL

BISAC BIO007000

Содержание

Время Короленко.	4
В. Г. Короленко.	24
О вреде философии	38
Мои университеты.	47
Городок.	83
Знахарка	89
Паук	97
Автобиографические рассказы	100
О первой любви.	128
А. Н. Шмит.	151
Сторож.	161
Заметка читателя	182

I. Время Короленко

...Вышел я из Царицына в мае на заре ветреного, тусклого дня, рассчитывая быть в Нижнем к сентябрю, — в этот год я призывался в солдаты.

Часть пути — по ночам — ехал с кондукторами товарных поездов на площадках тормозных вагонов, большую часть шагал пешком, зарабатывая на хлеб, по станицам, деревням, по монастырям. Гулял в Донской области, в Тамбовской и Рязанской губерниях, из Рязани — по Оке — свернул на Москву, зашел в Хамовники к Л. Н. Толстому, — Софья Андреевна сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг, она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия, вообще, изобилует бездельниками. Я уже сам видел это и, не кривя душой, вежливо признал наблюдение умной женщины совершенно правильным.

Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены, — очень красивое время года, но несколько неудобно для путешествия пешком, а особенно — в худых сапогах.

На станции Москва-товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон, в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я, почему-то, не понравился и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, — человечешко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, — возложил на меня обязанность кормить спутников моих, на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне: — Угощай.

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов более грубых, чем эти.

В котомке у меня лежала тетрадь стихов и превосходная поэма в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Я никогда не болел самонадеянностью, да еще — в то время — чувствовал себя малограмотным — но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь. Я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой и нелегкой жизни. Я был убежден, что, прочитав мою поэму, грамотное человечество благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, что правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взиграет честная, чистая, веселая жизнь кроме и больше этого я ничего не желал.

В Нижнем жил Н. Е. Каронин; я изредка заходил к нему, но не решался показать мой философический труд. Большой, Николай Елпидифорович вызывал у меня острое чувство сострадания, и я всем существом моим ощущал, что этот человек мучительно упорно задумался над чем-то.

— Может быть, и так, — говорил он, выбивая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, снова глубоко вдыхал дым и, усмехаясь, оканчивал:

— А может быть, и не так...

Речи его вызывали у меня тягостное недоумение — мне казалось, что этот полузамученный человек имел право и должен был говорить как-то иначе, более определенно. Все это — и моя сердечная симпатия к нему — внушали мне некую осторожность в отношении к Петропавловскому, как будто я опасался что-то задеть в нем, сделать ему больно.

Я видел его в Казани, — где он остановился на несколько дней, возвращаясь из ссылки. Он вызвал у меня памятное впечатление человека, который всю свою жизнь попадал не туда, куда ему хотелось.

— В сущности, напрасно я сюда приехал!

Эти слова встретили меня, когда я вошел в сумрачную комнату од-ноэтажного флигеля на грязном дворе трактира ломовых извозчиков. Среди комнат стоял высокий сутулый человек, задумчиво глядя на циферблат больших карманных часов. В пальцах другой руки густо дымилась папироса. Потом он начал шагать длинными ногами из угла в угол, кратко отвечая на вопросы хозяина квартиры С. Г. Сомова. Его близорукие, детские ясные глаза смотрели утомленно и озабоченно. На скулах и подбородке светлые шерстинки разной длины, на угловатом черепе — прямые давно немытые волосы дякона. Засунув левую руку в карман измятых брюк, он звенел там медью, а в правой руке держал папиросу, помахивая ею, как дирижер палочкою. Дышал дымом. Сухо покашливал и все смотрел на часы, уныло причмокивая. Движения плохо сложенного костлявого тела показывали, что человек этот мучительно устал. Постепенно в комнату влезло десятка полтора мрачных гимназистов, студентов, булочник и стекольщик.

Каронин приглушенным голосом чахоточного рассказывал о жизни в ссылке, о настроении политических ссыльных. Говорил он, ни на кого не глядя, словно беседуя с самим собою, часто делал короткие паузы и, сидя на подоконнике, беспомощно оглядывался, — над головою его была открыта форточка, в комнату врвался холодный воздух, насыщенный запахом навоза и лошадиной мочи. Волосы на голове Каронина шевелились, он приглаживал их длинными пальцами сухой костистой руки и отвечал на вопросы.

— Допустимо, но — я не уверен, что это именно так! Не знаю. Не умею сказать.

Каронин не понравился юношам. Они уже привыкли слышать людей, которые все знали и все умели сказать. И осторожность его повести вызвала у них ироническую оценку.

— Пуганая ворона.

Но товарищу моему, стекольщику Анатолию, показалось, что честную вдумчивость взгляда детских глаз Каронина и его частое «не знаю» — можно объяснить иной боязнью: человек, знающий жизнь, боится ввести в заблуждение мрачных кутят, сказав им больше, чем может искренно сказать. Люди непосредственного опыта — я и Анатолий — отнеслись к людям книг несколько недоверчиво; мы хорошо знали гимназистов и видели, что в этот час они притворяются серьезными, больше чем всегда.

Около полуночи Каронин вдруг замолчал, вышел на середину комнаты и, стоя в облаке дыма, крепко погладил лицо свое ладонями рук, точно умываясь невидимой водой. Потом вытащил часы откуда-то из-за пояса, поднес их к носу и торопливо сказал:

— Так — вот. Я должен итти. У меня дочь больна. Очень. Прощайте!

Крепко пожав горячими пальцами протянутые ему руки, он, покачиваясь, ушел, а мы начали междоусобную брань, — обязательное и неизбежное последствие всех таких бесед.

В Нижнем Каронин трепетно наблюдал за толстовским движением среди интеллигенции, помогал устраивать колонии в Симбирской губернии, — быструю гибель этой затеи он описал в рассказе «Борская колония».

— Попробуйте и вы «сесть на землю», — советовал он мне. — Может быть, это подойдет вам?

Но убийственные опыты любителей самоистязания не привлекали меня, к тому же в Москве я видел одного из главных основоположников «толстовства» М. Новоселова, организатора Тверской и Смоленской артелей, а затем — сотрудника «Православного Обозрения» и яростного врага Л. Н. Толстого.

Это был человек большого роста, видимо, значительной физической силы, он явно рисовался крайней упрощенностью, даже грубостью мысли и поведения, — за этой грубостью я почувствовал плохо скрытую злость честолюбца. Он резко отрицал «культуру», — что мне очень не понравилось, — культура — та область, куда я подвигался с великим трудом, сквозь множество препятствий.

Я встретил его в квартире нечаевца Орлова, переводчика Леопарди и Флобера, одного из организаторов прекрасного издания «Пантеон Литературы»; умный, широко образованный старик, целый вечер сокрушительно высмеивал «толстовство», которым я, в ту пору, несколько увлекался, видя в нем, однако, не что иное, как только возможность для меня временно отойти в тихий угол жизни и там продумать пережитое мною.

...Я знал, конечно, что в Нижнем живет В. Г. Короленко, читал «Сон Макара», — рассказ этот почему-то не понравился мне.

Однажды, в дождливый день, знакомый, с которым я шел по улице, сказал, скосив глаз в сторону:

— Короленко!

По панели твердо шагал коренастый, широкоплечий человек в мохнатом пальто, из-под мокрого зонтика я видел курчавую бороду. Человек этот напомнил мне тамбовских прасолов, — а у меня были солидные основания относиться враждебно к людям этого племени, и я не ощутил желания познакомиться с Короленко. Не возникло это желание и после совета, данного мне жандармским генералом, — одна из забавных шуток странной русской жизни.

Через несколько времени меня арестовали и посадили в одну из четырех башен нижегородской тюрьмы. В круглой моей камере не было ничего интересного, кроме надписи, выцарапанной на двери, окованной железом. Надпись гласила:

Все живое — из клетки.

Я долго соображал, что хотел сказать человек этими словами? И не зная, что это аксиома биологии, решил принять ее как печальное изречение юмориста.

Меня ответили на допрос к самому генералу Познанскому и вот он, хлопая багровой, опухшей рукою по бумагам, отобранным у меня, говорит всхрапывая:

— Вы тут пишете стихи и вообще... Ну, и пишите. Хорошие стихи — приятно читать...

Мне тоже стало приятно знать, что генералу доступны некоторые истины. Я не думал, что эпитет «хорошие» относится именно к моим стихам. Но в то же время далеко не все интеллигенты могли бы согласиться с афоризмом жандарма о стихах.

И. И. Сведенцов, литератор, гвардейский офицер, бывший ссыльный, прекрасно рассказывал о народолюбцах, особенно восторженно о Вере Фигнер, — печатал мрачные повести в «толстых» журналах, но когда я прочитал ему стихи Фофанова:

Что ты сказала мне — я не расслышал.

Только сказала ты нежное что-то...

Он сердито зафыркал:

— Болтовня! Она, может быть, спросила его: который час? А он, дубина, обрадовался...

Генерал, — грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Его опухшее лицо в седых волосах, густо расписано багровыми жилками, мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но — симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять.

Из книги речей А. Ф. Кони я знал тяжелую драму, пережитую этим генералом, знал, что дочь его — талантливая пианистка, а сам он — морфинист. Он был организатором и председателем «Технического Общества» в Нижнем, оспаривал, на заседаниях этого общества, значение кустарных промыслов и — открыл на главной улице города магазин для продажи кустарных изделий губернии; он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы.

Все вокруг генерала было неряшливо: на кожаном диване, за спиной его, валялось измятое постельное белье, из-под дивана выглядывал грязный сапог и кусок алебаstra весом пуда в два. На косяках окон в клетках прыгали чижи, щеглята, снigiри, большой стол в углу кабинета загроможден физическими аппаратами, предо мной на столе лежала толстая книга на французском языке «Теория электричества» и томик Сеченова «Рефлексы головного мозга».

Старик непрерывно курил коротенькие толстые папиросы и обильный дым их неприятно тревожил меня, внушая смешную мысль, что табак напитан морфием.

— Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы — не еврей, не поляк. Вот, — вы пишите, ну, что же? Вот, когда я выпущу вас, — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...

От генерала истекал какой-то тяжелый, душный запах. Говорить ему не хотелось, он вытягивал слово за словом лениво, с напряжением. Было скучно. Я рассматривал небольшую витрину рядом со столом, — в ней были разложены рядами металлические кружки.

Генерал, заметив мои косые взгляды, тяжело приподнялся, спросил:

— Интересно?

Подвинул кресло свое к витрине и, открыв ее, заговорил:

— Это — медали в память исторических событий и лиц. Вот взятие Бастилии, а это — в память победы Нельсона под Абукиром, — историю Франции знаете? Это — объединение швейцарских союзов, а это знаменитый Гальвани — смотрите, как прекрасно сделано. Это — Кювье, — значительно хуже!

На его багровом носу дрожало пенсне, влажные глаза оживились, он брал медали толстыми пальцами так осторожно, как будто это была не бронза, а стекло.

— Прекрасное искусство, — ворчал он и, смешно оттопыривая губы, сдувал пыль с медалей.

Я искренно восхищался красотой кружечков металла и видел, что старик нежно любит их.

Закрыв — со вздохом — витрину, он спросил меня: люблю ли я певчих птиц? Ну, в этой области я знал, вероятно, больше, чем три генерала. И между нами завязалась оживленнейшая беседа о птицах.

Старик уже вызвал жандарма, чтобы отправить меня в тюрьму, у косяка двери вытянулся солидный вахмистр, а его начальник все еще говорил сожалительно чмокая:

— Вот, знаете, не могу достать шура! — Замечательная птица! И, — вообще, — птицы прекрасный народ, правда? Ну, отправляйтесь с Богом... Да, — вспомнил он, — вам учиться надо, ну, там — писать, а не это...

Через несколько дней я снова сидел перед генералом, он сердито бормотал:

— Конечно, вы знали, куда уехал Сомов, и надо было сказать это мне, я бы сразу выпустил вас. И — не надо было издеваться над офицером, который делал обыск у вас... И — вообще...

Но вдруг, наклоняясь ко мне, он добродушно спросил:

— А теперь вы не ловите птиц?

... Лет через десять после забавного знакомства с генералом, я, арестованный, сидел в Нижегородском жандармском управлении, ожидая допроса. Ко мне подошел молодой адъютант и спросил:

— Вы помните генерала Познанского? — Это мой отец. Он умер, в Томске. Он очень интересовался вашей судьбой, — следил за вашими успехами в литературе и, нередко, говорил, что он первый почувствовал ваш талант. Не задолго до смерти он просил меня передать вам медали, которые нравились вам, — конечно, если вы пожелаете взять их...

Я был искренне тронут. Выйдя из тюрьмы, взял медали и отдал их в Нижегородский музей.

... В солдаты меня не взяли; толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распорядясь точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом — расширена вена на ноге. Не годен!

Это крайне огорчило меня.

Не задолго до призыва я познакомился с офицером-топографом — Паскиным или Пасхаловым, не помню.

Участник боя под Кушкой, он интересно рисовал жизнь на границе Афганистана и весной должен был отправиться на Памир, работать по определению границ России. Высокий, жилистый, нервозный, он очень искусно писал маслом, — маленькие, забавные картинки военного быта в духе Федотова. Я чувствовал в нем что-то не слаженное, противоречивое, то, что именуют «ненормальным». Он уговаривал меня:

— Поступайте в топографическую команду, я возьму вас на Памиры! Вы увидите самое прекрасное на земле — пустыню. Горы, — это хаос, пустыня гармония!

И прищутив большие, серые, странно блуждающие глаза, понижая до шопота мягкий, ласкающий голос, он таинственно жужжал о красоте пустыни, а я слушал, и меня, до немоты, изумляло: как можно столь обаятельно говорить о пустоте, о бескрайних песках, непоколебимом молчании, о зное и мучениях жажды?

— Ничего не значит, — сказал он, узнав, что меня не взяли в солдаты. — Пишите заявление, что желаете поступить добровольцем в команду топографов и обязуетесь сдать требуемые экзамены, — я вам все устрою.

Заявление написано, подано; с трепетом жду результата. Через несколько дней Пасхалов смущенно сказал мне:

— Оказывается, — вы политически неблагонадежны; тут ничего нельзя сделать.

И, опустив глаза, он тихо добавил:

— Жаль, что вы скрыли от меня это обстоятельство!

Я сказал, что для меня это «обстоятельство» тоже новость, но он, кажется, не поверил мне. Скоро он уехал из города, а на святках я прочитал в Московской газете, что этот человек зарезался бритвой в бане.

... Жизнь моя шла путанно и трудно. Я работал в складе пива, перекачивал в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. Это занимало весь мой день. Поступил в контору водочного завода, но в первый же день службы на меня бросилась борзая собака жены управляющего завода, — я убил собаку ударом кулака по длинному черепу, и меня тотчас прогнали.

Однажды в тяжелый день, я решил, наконец, показать мою поэму В. Г. Короленко. Трое суток играла снежная буря, улицы были загромождены сугробами, крыши домов — в пышных шапках снега, скворешни — в серебряных чепчиках, стекла окон затянуты кружевами, а в белесом небе сияло, ослепляя, жгуче холодное солнце.

Владимир Галактионович жил на окраине города во втором этаже деревянного дома. На панели, перед крыльцом, умело работал широкой лопатой коренастый человек в меховой шапке странной формы, с наушниками, в коротком, — по колени — плохо сшитом тулупчике, в тяжелых вятских валенках.

Я полез сквозь сугроб на крыльцо.

— Вам кого?

— Короленко.

— Это я.

Из густой, курчавой бороды, богато украшенной инеем, на меня смотрели карие хорошие глаза. Я не узнал его; встретив на улице, я не видел его лица.